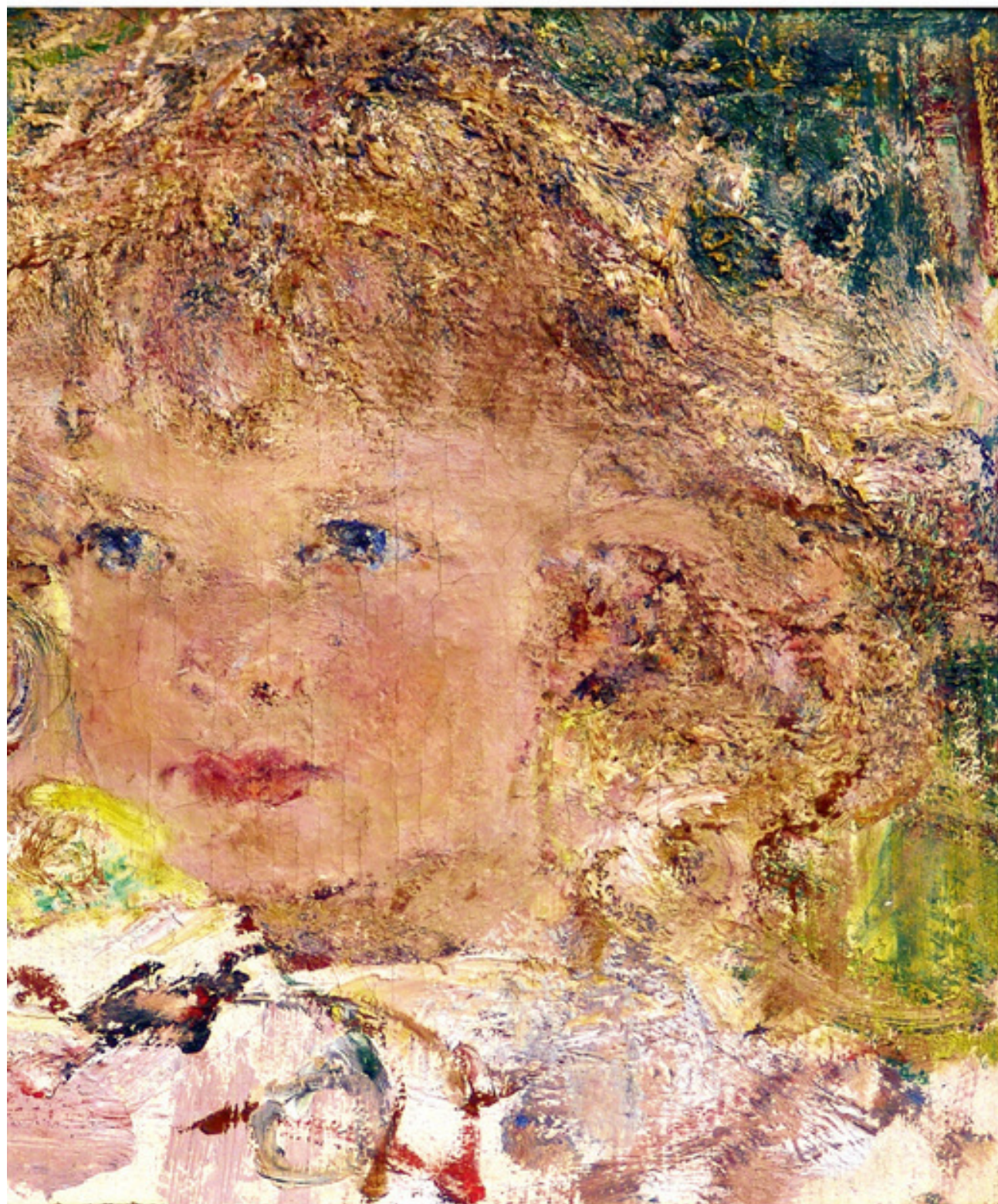


ОТЦОВСТВО

Михаил Эпштейн

Роман-дневник



Михаил Эпштейн

Отцовство. Роман-дневник

«Никея»

2014

Эпштейн М. Н.

Отцовство. Роман-дневник / М. Н. Эпштейн — «Никея», 2014

Автор книги «Отцовство» – известный философ и филолог, профессор университетов Дарема (Великобритания) и Эмори (Атланта, США) Михаил Эпштейн. Несмотря на широкий литературный и интеллектуальный контекст, размышления автора обращены не только к любителям философии и психологии, но и ко всем родителям, которые хотели бы глубже осознать свое призвание. Первый год жизни дочери, «дословесный» еще период, постепенное пробуждение самосознания, способности к игре, общению, эмоциям подробно рассматриваются любящим взором отца. Это в своем роде уникальный образец пристального и бережного вслушивания в новую человеческую жизнь, опыт созидания уз любви и рождения подлинной семейной близости.

© Эпштейн М. Н., 2014

© Никея, 2014

Содержание

Предисловие	6
I. Ожидание	7
1	8
2	9
3	10
4	12
5	14
6	16
7	17
II. Встреча	18
1	19
2	20
3	21
4	22
5	23
6	24
7	25
8	26
9	27
10	29
III. Тайна	30
1	31
2	32
3	33
4	34
5	35
6	36
7	37
8	38
IV. Любовь	39
1	40
2	41
3	42
4	43
5	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Михаил Эпштейн

Отцовство. Роман-дневник

© М.Н. Эпштейн, 2014

© Свящ. В. Зелинский, послесловие, 2014

© Издательский дом «Никея», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*...Отцы семейств, эти великие авантюристы современного мира.
Шарль Пеги*

Предисловие

Эта книга – о начале жизни, о первых двадцати месяцах: с момента, когда отец впервые слышит биение новой жизни в животе матери, – и до момента, когда подросток дочь начинает ходить и говорить и родители решают завести второго ребенка. За это время происходит становление бытия из небытия – со многими приключениями, любовными коллизиями и трагедией взросления и отчуждения.

Авторы, пишущие о детстве, обычно обходят стороной или торопливо минуют самое его начало, как не выраженное в языке и не закрепленное в памяти ребенка. (Из всей русской литературы, кажется, только Сергей Аксаков и Иван Бунин оставили несколько драгоценных страниц¹.) Однако младенчество не прячет своих тайн, напротив, хочет раскрыться, для чего и приходит в этот мир, нуждаясь лишь во встречном движении нашего слова. Именно потому, что младенец не умеет говорить, вся ответственность за открытие смысла в его молчании ложится на близких.

Никакая другая ответственность не дарит столько удивительных привилегий, как эта. Перед нами словно бы выход в иное измерение. Не нужно никаких фантазий – достаточно дневника, чтобы обнажилась явь того опыта, который описывался мистиками всех времен, но в терминах более отвлеченных и туманных, чем реальность младенчества. Отцовство – ближайший и доступный каждому человеку, независимо от профессии и таланта, опыт прямой сопричастности миротворению. Становясь отцами, мы начинаем постигать тайну создания нас самих. Предварить эту книгу хочется словами апостола Павла: «Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3: 9-10). Рождая и постигая новорожденное во всей его поражающей новизне, отец сам обнаруживает в себе образ предвечного Отца – и обновляется по этому образу вместе со своим творением.

Однако у этого преображения есть и другая сторона. Именно «сверхчеловеческое» в отце подвергает его множеству искушений, одно из которых – возвысить себя по отношению к ребенку до Отца с большой буквы. Философ Габриель Марсель спрашивал: «До какой степени отец может и должен воспринимать себя так, как если бы сам Бог наделил его властью над детьми?»² Таков один из главных вопросов этой книги³.

¹ Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука, глава «Отрывочные воспоминания»; Бунин И. А. Жизнь Арсеньева, книга первая, главы 2–5.

² *Marcel Gabriel. The Creative Vow as Essence of Fatherhood / Homo Viator: Introduction to a Metaphysic of Hope*, trans. Emma Craufurd. Chicago: Henry Regnery 1951. P. 122. Ответ самого Марселя дан с позиций католического экзистенциализма: «Я могу наделить существованием кого-либо другого не более, чем самого себя... Наш ребенок принадлежит нам не больше, чем мы принадлежим себе, и следовательно, он существует не ради нас и более того – не ради самого себя» (там же, с. 120). Эссе Габриеля Марселя «Творческий обет как сущность отцовства» – один из немногих опытов расширительного толкования биологического отцовства как теологической категории.

³ Эта книга писалась в Москве в 1979-1980-х годах. Я благодарен Елене за совместные размышления, из которых рождались многие записи. Я признателен своим детям, Оле и Мите, за то, что в конце 1990-х годов они набрали текст этой книги на компьютере.

I. Ожидание

*Мужская опустошенность есть такой же способ вынашивания плода, как женская
отягощенность; взамен дана нам легкость тела, как им – воспарение души.*

1

5 февраля 1979 года. Наконец я услышал *его*. Это случилось на девятый день пятого месяца. Прильнул к животу. Сразу мне показалось, что тишина не такая, как раньше, – не сплошная, но полая, чуткая, будто в ней кто-то затаился. Еще вчера там была наполненность материнским, посюсторонним и звуки раздавались *отсюда* — хлюпающие, сосущие, это работал организм беременной. А сегодня пропало это ощущение близкого: там все расступилось и возник гулкий простор – молчащий, то есть способный заговорить. И мне так захотелось еще послушать это молчание, что я опять прильнул к животу.

И услышал. Если бы раньше, почти ежедневными вслушиваниями, я не приучил ухо к столь глубокой, бездонной тишине, то и не воспринял бы сейчас этого звука. Он дошел до меня на самом кончике слуха, почти неотличимый от шума моей же крови в ушах.

Больше всего это похоже на дыхание, только не стиснутое узостью горла и ноздрей, а вольно веющее по всему пространству; или на ветер, вдруг одушевившийся, обретший размеренность вдоха и выдоха. *Дух носился над водами... и тьма над бездною*. Что начало всемирного творения именно таково, я мог бы подтвердить всем слухом моим: там была бездна, и она дышала (о водах и тьме не приходится и сомневаться). Упругое набухание и опадание звука, прилив и отлив...

Что звук – волна, я тоже постигал впервые. То был, очевидно, шум его крови, уже циркулирующей в целостности организма. Значит, он стал собой, его жизнь уже выдает себя отдельным, узнаваемым звуком среди множества звуков материнского тела. Впервые он стал различим для меня, единствен.

Еще столь далек был этот звук, ощутимый на самом дне тишины, как тишайшее в ней, что поминутно я терял его и уже не знал, что слышу: кровь младенца или свою, тем громче приливающую к ушам, чем глубже я погружался в безмолвие.

И все-таки на самой границе слуха то и дело прорастала тишина, а за ней – четкий и мерный, словно бы обведенный в пустоте звук, гораздо более достоверный, чем размытый шум в ушах.

Так трудно через отцовский слух нарождалось дитя – но все же, наверно, не труднее, чем через материнскую плоть.

2

Что испытывает отец в эти девять месяцев ожидания, если он хочет и любит ребенка, – восторг, торжество? Нет же! В материнской утробе все полнится и набухает, наливается силой, а во мне – окаянная пустота, ноющая и сосущая. Такой тоски и ощущения бессмыслицы, как в эту долгую зиму, я не знал никогда... Работа из рук валится, сколько ни принуждаю себя, – и ведь последние житейски свободные месяцы, когда дано безмятежно работать. Но не отпускает дремотная праздность: чтение ненужных книг и газет, рассеянные взгляды в окно, шатание по квартире. Я даже задумал сочинять, обобщая свой зимний опыт, «Записки о хандре», но хандра-то и отбила меня от этого замысла. Я, впрочем, собирался показать, что хандра – это ощущение времени в его чистоте и незанятости, противоположность «заботе», которая всегда забегает вперед времени и укорачивает его. Мне же сейчас некуда избыть его, это равнинное, плоское, тягучее время, когда вся природа в трудах и хлопотах за меня, а я оставлен праздным созерцателем. Жду, томлюсь, поглядываю на часы...

И особенно тяжело ощущать себя бесплодным рядом с Л., у которой новое ее положение вызвало небывалый духовный подъем. Она и трудится, и понимает, и вдохновляется вдвое больше обычного, словно эта вторая жизнь и ее за собой позвала и обновила. У меня же, наделенного не меньшей радостью, совместным ожиданием, что-то отнято, и весь я скомкан и отброшен, как лишнее, не идущее к делу. И не у меня одного такое упадочное переживание первых отцовских радостей. Недавно были у нас в гостях две четы, тоже ожидающие ребенка. Матери хлопотали на кухне, а мы, трое зрелых, бодрых и деятельных мужчин, обсуждали ощущения своего предстоящего отцовства. И глубину тайны почувствовали в том, что нас объединяло, в этой беспричинной тоске жить, когда жизнь удваивается... Жены, с их покоем и торжеством, не могли разделить нашего душевного бремени, как и мы не могли разделить их плотское бремя. Захотелось понять причину этой нашей общей подавленности. Разве не справедливо, что мы в душе носим ту тяжесть, какую они – во чреве? Мужская опустошенность есть такой же способ вынашивания плода, как женская отягощенность; взамен дана нам легкость тела, как им – воспарение души. Таков наш способ соучастия в делах природы: в ношении – как в зачатии. Нам – отдавать и опустошаться, им – принимать, чтобы породить из себя избыток в жизнь. И если покидает нас в это время и воля, и работоспособность, то роптать на это столь же нелепо и смешно, как на потерю семени во время зачатия. Еще древние заметили, что за соитием всегда следует тоска – малая смерть, пустота саморастраты. Но ведь беременность – это и есть продолженное соитие, отдача мужского женскому уже в становлении третьего, – соитие, растянувшееся на девять месяцев, и потянувшаяся вслед за ним небывалая тоска...

3

А весной, когда ждать оставалось всего два-три месяца, у нас с Л. началось общее уныние. Очень уж мы одинокими себя почувствовали – без него. Он жил уже своей отдельной жизнью в Л. – шевелился, толкался, а мы были еще далеки от него и томились в этой странной разлуке. Л. тоже стала переживать свою растущую обособленность. Ведь для матери рождение ребенка – это не только встреча с ним, но и в каком-то глубочайше плотском смысле расставание на всю жизнь. Я-то и раньше стоял в стороне, а теперь и Л. начала отстраняться – мы с ней вдруг составили компанию одиноких. Так нарастает чувство одиночества в праздник, когда все высыпает на улицу а ты остаешься дома. По мере того как все оживленнее становилось *там*, где бурлило и вскипало что-то неведомое, нам становилось все тоскливее быть только вдвоем. Мы сучали – а *там* шла настоящая жизнь. И насколько медленнее тянулись наши дни в сравнении с пролетавшими *там* столетиями!

Это чувство несоизмеримости его и нашего миров – гораздо сильнее, чем обыкновенная возрастная тоска, умиление цветущим детством и сожаление о своем увядании. Перед младенцем ощущаешь свою немолодость, перед нерожденным – свою нежизнь. И потянуло нас прочь отсюда – забыться, уехать, томительное время разменять на мелочь мелькающего пространства. Мы воспользовались испытанным способом развеять тоску – чайльд-гарольдовским, онегинским, с той только разницей, что они ощущали себя одинокими перед небытием, а мы вдвоем – перед инобытием третьего. Но тоска предсмертная и предродовая – много общего в этом ощущении собственной ненужности, в нервном ожидании, в стремлении рассеяться. А тут еще и весна в городе никак не начиналась – стояла уже середина апреля, но за окном мглоило, шли мокрые снега, и эти предродовые тяготы природы сгущали томление, бередили и растрavляли. Вот мы и задумали поехать навстречу весне, как бы ускоряя ее приход и тем самым внутренне приближаясь к развязке.

На седьмом месяце ожидания мы из Москвы перебрались в Ригу, чтобы оттуда начать планомерный спуск к югу – вплоть до Батуми, где очутились уже на восьмом месяце. От Балтийского моря до Черного, от рижской склизи и ледяной изморози – через пасмурный Минск, талые Сумы, зеленеющий Харьков, пыльный Ростов, цветущий Геленджик – до лазорево-теплого, млеющего на солнце Батуми: тут вся география должна читаться как биография наша. Потому что внутри, в этой зарождающейся жизни, все менялось так же быстро, как и снаружи, – и тоже теплело, оживлялось, расцветало, как символы незримого, чревного.

И в этом стремительном путешествии, где каждому городу отводилось всего день или два, дорога горела под ногами, виды слипались и прикипали к зрачкам, – мы вдруг умиротворились. Наконец-то нашли способ существования, достойный младенца, соразмерный ему! Мы перестали извне наблюдать за его неукротимо стремящейся жизнью – и пустились вдогонку, если не поравнявшись, то сблизившись с ним в этой жажде обновления. Какое-то взаимодействие – поступок в ответ на поступок – установилось между нами. Он мчался через века, мы – через города и селенья; мы отставали от него во времени, зато увлекали за собой в пространстве.

Это соперничество с ребенком в скоростях, в завоевательном и победоносном чувстве жизни – не было ли оно предвестием будущих ревностей и распрей между внутрисемейными поколениями? Кто знает! Но сейчас главным было дать ему то, чего он, так уверенно растущий и берущий все от природы, не смог бы взять сам. Уже не ждать, когда он захочет встретиться с нами, – самим готовить эту встречу, открывать ему мир, прежде чем он головкой пробьет туда дорогу. Когда мы решали, какой город ему показать, какой цвет и образ забросить ему в подсознание, какой звук поселить в его памяти, когда мы выбирали красивые места для прогулок, добрых людей для беседы, создавая мир его будущих воспоминаний и смутных узнаваний, –

мы были уже не вдвоем, а втроем, мы воссоединялись с ним. Мы уже не только слышали его – мы вступали в общение с ним. Такая у нас перед его рождением состоялась долгая встреча.

4

«И ты гоняешься за легкою весной, ладонью воздух рассекая»⁴. Нет, не только за весной мы гонялись в этом путешествии, но преследовали – по крайней мере я – еще и более определенную цель: побывать на родине предков. Отец мой родом из Погара, маленького городка в Брянской области, совсем не случайно попавшего в наш вольный маршрут на полпути между Минском и Сумами. Я давно тянулся к этим оборванным корешкам своего рода, но только теперь, в ожидании младенца, был приведен сюда чем-то высшим, нежели свое желание, – силою «дуговой растяжки»: начало требовало сомкнуться с концом. И вот я, по стечению обстоятельств – в день своего рождения, 21 апреля стою в центре Погара, на земле, исхоженной предками, и чего-то жду, на что-то надеюсь – словно в благодарность за то, что я приехал сюда, ко мне навстречу должна двинуться здешняя природа, обнять, приветить как родного или хотя бы подать тайный знак узнавания: вот основа и почва твоя!

Была ранняя, нежнейшая весна, а пыль на дороге уже клубилась тучами от проезжающих машин. Это шелушение земли, это замутнение воздуха – в обычае таких полупоселковых городков, где земля утрачивает здоровую жирность и комковатость – сохнет, болеет, распыляется. Не почва была у меня под ногами, а пыль, «пыль отечества», стягивающая лицо липкой маской.

От синагоги, где прадед мой служил раввином, ничего, конечно, не осталось. Зато сохранилась церковь, куда никто из предков моих не заходил; но даже такая точность со знаком минус была мне драгоценна. Собственно, никаких других знаний, кроме отрицательных, я и не рассчитывал приобрести, ведь ни место дома не было известно мне, ни прежняя планировка города – ничего. По сути, я приехал узнать то, чем *не было* это место для моих предков. Но уж это я узнал с пугающей точностью.

Мы и раньше много путешествовали: и на Севере бывали, и на Урале, и на Волге, в самых заброшенных городках, самых мусорных поселках, – но таких страшных, нечеловеческих лиц, как здесь, нигде не встречали. На улице Мглинской, где раньше стояла синагога, я случайно встретился взглядом с подростком – и ужаснулся: такая в нем животная немота и равнодушная злоба. Не ко мне, не к кому-то другому, а злоба вообще: к воздуху, домам, деревьям. Жгучий, режущий взгляд – он рассек меня и заскользил дальше, оставляя за собой кровавую набухающую полосу. Почему-то подростки в таких местах больше всего и запоминаются – степень безнадежности, убитости в них резче, что ли. Детям почти все равно, где жить, они везде радостны; взрослые уже намертво приколоты к своему месту, а вот в подростках что-то еще упрямо корчится, пока жизнь их не перерубит...

Еще один запомнился мне: конопатый, рыжий, с растрепанными волосами, в редких здесь очках. Он шел среди сверстников, выделяясь сутулостью, диковинным цветом волос – оробевший павлин в стае диких и злобных уток. У него было то выражение растерянности и неловкости, которое придает даже глупому лицу выражение интеллигентности. И одновременно я уловил этакую нагловатую и жалкую попытку быть как все – над чем-то он смеялся и рубил воздух рукой, словно уничтожая невидимого врага. И сердце у меня сжалось от беззащитности здешней души, от невозможности осуществиться по-своему. Единственный выбор для нее – между страшным и жалким. Я вдруг узнал себя в этом рыжем под ростке – да, в нашем роду ведь были рыжие. Мой отец остался бы здесь, женился бы на местной, и это я, его сын, возвращаюсь из школы, довольный тем, что меня слушают, а не бьют и не дразнят. В следующем году я буду поступать в авторемонтный техникум или финансовое училище... Верность роду, заветам, земле!.. Очертания прошлого, предначертания будущего – все эти при-

⁴ О. Мандельштам. «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...»

зраки, пропитанные пылью и мглой здешних мест, воплотились в растрепанного рыжеволосого подростка, и я вздрогнул, словно очнувшись от страшного сна, когда мое настоящее наконец отделилось от этого возможного поворота судьбы.

А к вечеру того дня, проведенного на родине, почти перед самым отъездом, случилось со мной и долгожданное «знамение» – прямо и лично ко мне обращенное. В безлюдном магазинчике, куда мы зашли купить продуктов в дорогу, ко мне подошел огромного роста детина – придвинулся вплотную, мерно покачиваясь, и выговорил до неправдоподобия правильно, но без всякого выражения: «Интеллигент, кажется?» Я чуть было не ответил, как требует учтивость:

«Да, я такой-то, чем могу служить?» Но он не ждал ответа – придвигался все ближе и тяжело дышал, грудью уже почти упираясь мне в лицо, куда-то тесня, окружая меня и сверху, и спереди, и с боков необъятным своим телом. Л. взяла меня за руку и вывела из этого плотного окружения; очень быстро и вместе с тем крайне медленно, как уходят от опасного животного, стараясь не раздражить и не увлечь его за собой, мы вышли из магазина. Через два часа поезд уже вез нас дальше, к югу.

Так я понял впервые, что ностальгия, погнавшая меня сюда, беспочвенна и неутолима. Есть тоска по далекой, заброшенной в другое пространство родине, но моя родина не где-то далеко – ее просто нет, она исчезла, растворилась во времени, и пыль, поднятая на улице Мглинской, там, где раньше стояла синагога, и есть ее рассеянный прах. Все эти мужчины с торопливыми повадками, громкой и уверенной речью, быстроглазые кудрявые дети, женщины, чьи руки бегают в такт разговору, – все они, окружавшие отца, смыты временем и обратились в тусклую, уже стершуюся память этих мест. И нельзя мне найти умиротворение в своих корнях, любовно обнять и прильнуть, потому что род мой – только во мне, и это ко мне прильнули и прилепились сейчас со всех небес мои предки: я – их земля. Тело мое и есть их родина, единственная родная точка в пространстве. И ко благу моему или горю, но нельзя мне искать свой род в прошлом, в земле – тут все чужое; да и не таким ли – печальным и опасным – было это место и для предков моих? Только собственная плоть и может утолить нашу жажду ласки и теплоты, каких мы тщетно ищем в почве. Мой род – в младенце, который спешит из будущего и уже приближается ко мне.

И не для того ли эти страшные маски вокруг – небывалые, несуществующие, *нарочно для меня* созданные лица, чтобы я тверже усвоил этот урок, обратясь от земли чужой – к плоти своей, от прошлого – к будущему? Ностальгия – эдипов комплекс пространства, тяга к кровосмешению с матерью-землей, к возвращению в родимое лоно. И меня, две тысячи лет назад утратившего историческую родину, кто-то по-доброму самым малым злом, учит обратит любовь и тягу к плоти своей живой, а не к призраку родины внешней, географической, какой бы она ни была. Свою родину мы из себя рожаем. А если так, то скоро Земля обетованная!

5

В тот день, когда явилась *она* ко мне из обморочного тумана, из страдания и страха, я впервые нашел в себе силы молиться.

Труднее ничего нет для души. Насколько легче и свободнее становится после молитвы, настолько тяжело и почти невозможно к ней приступить. Хочет раскрыться душа Всевышнему, а угрюмая привычка затворничества не пускает. Дверь открыта, тебя ждут – но тем труднее переступить порог. Не с кем бороться, но тем труднее признать себя побежденным. Наверно, это и есть то, что в старину называли гордыней; я бы еще сказал – собственничество. Жаждет наша душа владеть собой безраздельно, никому прав на себя не вручать. Сколько раз я чувствовал страшную тяжесть, которую мог бы сбросить одним словом молитвы, – но горло сжималось на пути этого слова. Для молитвы нужна какая-то отчаянная смелость, с какой отдают жизнь за близких, за родину, за самое святое. «Рвануть рубаху на груди – и под огонь». Когда же нельзя спасти своей жизнью: умрешь, но чужой боли не облегчишь, страданию любимого не поможешь, – тогда-то и остается отдать свою душу, доверить ее Богу.

Молитва, если отнестись к ней всерьез, – это нечто ужасное, то последнее, чему предшествует даже физическое самопожертвование. Молитва тоже есть принесение в жертву, только не тела, а души: вот, Господи, она Твоя! Отныне уже не я, а Ты ей хозяин.

Исторически так и было: на костер возлагалась жертва, а вослед ей воссылалась молитва. То – Твое, Господи, и это – Твое. Жертвенное мясо и молящаяся душа – все во власти Твоей; слово – как дым восходящий. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою: воздеяние рук моих, жертва вечерняя». Руки воздев, как языки пламени, воскуриться плотью, чтобы и душа, стгорая в молитве, могла небу свое последнее дыхание вознести. Тающим воском свечи и кадильным дымом стали впоследствии символизировать жертву, которая изначально приносила на огне мясом животного, – однако и та натуральная, кровавая жертва была лишь символом лучшего, что человек «с кровью и мясом» отрывал от себя, от жизни своей и отдавал на заклание – в жертвенный дар Богу.

И видимо, сильна в нас память о той смертной муке, через которую дается истинная мольба (только сама мольба, а еще не милость), если тяжело на нее отважиться. Опасное в этом чудится – возможность кровавой расплаты. Ведь молиться – значит так открываться и предстоять Господу, как после смерти предстоит душа, вышедшая из всех земных укрытий. Готов ли ты умереть? – вот тайный вопрос, который мы слышим в душе, когда хотим расположить ее к молитве.

Так получилось, что совсем незадолго до этого июльского дня, в июне, я сильнее всего испытал необходимость и невозможность молитвы. Мы случайно оказались в молебном доме баптистов, где громовый проповедник с яростью и упрямством тащил наши души к себе – звал покаяться, и народ из переполненного зала, рыдая и вскрикивая, шел к нему, падал на колени и во всеуслышание исповедовался. И меня тянуло туда, в таинство развоплощения, где нагая предстала перед Богом душа, – и страшно становилось от собственной решимости. Если я сейчас встану и втянусь в этот духоворот, уже не будет мне хода обратно.

Весь тот вечер у меня болела душа, растянутая на разрыв непосильным выбором. Чем ближе подступала к сердцу молитва, тем тяжелее было отдаться ей. Все тяжи, которыми душа удерживается в своей обособленности, натягивались до предела: нет, не пушу, останешься при мне. И особенно нехорошо было потом, когда мы шли по вечерним пустым улицам, такие отдельные и непричастные, и я не любил себя за то, что шел среди близких, а не остался с теми, кто воевал за Бога с собой и души своей не щадил. Мы были такие наглухо застегнутые – обсуждали баптистов и на сомнения свои отвечали тем, что, дескать, каяться, как они – громко и прилюдно, – это слишком легко, а нужно внутри себя, наедине с Богом, и т. д. И стыдно было

мне это слушать и говорить, потому что я и совсем никак не мог молиться, ни с большей, ни с меньшей отдачей, – никак.

Я упрекал себя в малодушии, в том, что не кинулся навстречу проповеди, не присоединился к общему героическому порыву веры, – спрятался, близкими заслонился. Но то, что толкало меня в гущу молящихся и кающихся и требовало преодолеть свою уединенность, – не было ли это всего лишь проверкой себя на смелость, т. е. вовсе не смирением, а дерзостью перед Господом? Дескать, бери меня, я Тебя не боюсь. Этот ужас и риск предстояния перед Богом – не был ли молодеческой выходкой, когда бросаются в битву, чтобы себя испытать? Тогда некого мне было спасать, и как хорошо, что я не осмелился единственно ради доблести принести себя в жертву, но сохранил «первинок» – непорочную жертву души для своего первенца.

Думалось тогда, что я надолго, если не навсегда лишил себя возможности обращения: стоять так близко – и не посметь, не коснуться! – когда же еще, если теперь не смог? Но вот настал этот день. С утра между нами уже не было телефонной связи, и она одна где-то в казенных, стерильных палатах, под холодом и блеском металла мучится и, может быть, умирает, и никто на всем свете не может ей помочь. И тогда без усилия и без сопротивления, а так обыденно, словно я делал это всю жизнь, я опустился на колени посреди своей уже нежилой комнаты, и лбом прикоснулся к пыльному полу, и сказал – сначала про себя, потом вслух, потом еще раз про себя – то, о чем не мог в эту минуту сказать ей.

6

С того страдальческого дня прошли месяцы – я два или три раза молился за это время, но уже не с такой верой, как в тот день, скорее, с упрямой памятью той веры, с надеждой на ее вечную правоту. Только в те часы и была прирождена душе моей молитва – по тому же закону, по какому в определенный, единственный час выпадает телу разрешиться от бремени. Моя молитва и ее роды – это было, по сути, одно общее содрогание, одна страшная схватка, так же как во время беременности стали единым ее чревая полнота и моя пустота сердечная. Всю свою жизнь я был безъязык перед Господом – горло сжималось на пути каждого слова; но вот стала разверзаться ее плоть... «и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога» (Лк. 1: 64). В один день и по одному произволению были распечатаны наши жизни; мое слово двинулось исходящими путями, как и плод в ней, и ее боль научила меня молитве.

«Господи, помилуй, выпусти моего младенчика из тьмы крошечной, подари ему Свой день. Ему – подари, у нее – не отнимай, не наказывай их за мои прегрешения перед Тобой, все возмездие Свое мне оставь!..»

«Вспомни щедроты Твои, Господи... грехов юности моей и преступлений не вспоминай...»

Эти слова (мои вперемишку с вечными), с усилием выходя, повторяли судорожный путь младенца, упорно толкались в преграду, чтобы проторить ему выход к свету. Молитва – те же роды, те же потуги души, когда исторгается из нее нечто вызревшее и таимое, – с кровью разверзаются тесные недра, и Господу вручается наконец то, что было Им растимо. Тот же страшный напор внутренних сил – и необходимость сокрушить себя, чтобы выпустить их наружу; тот же плач и расслабление... Победа над собой – не гордая и не добровольная, а почти что вынужденная и повинная, с дрожанием каждой мышцы, измученной в борьбе.

«Господи, отпусти!» – а по телефону ровный голос из справочной каждые полчаса: «Нет, пока еще нет».

В Книге Ветхозаветной стал я читать вслух о субботе (было это в субботу): «Благословил Господь день субботний и освятил его...» Чувствую: губы уже не слушаются, язык не ворочается – из уст уже нейдет ничего, как там – из чресел, только дрожь колотящая, почти что обморок... Этот стол, на котором лежала Библия, и был предназначен мне как родильный, чтобы слово – первое в жизни, единственное из бесчисленных моих слов – смогло бы воистину стать плотью.

7

Из всего Писания, которое я почти непрерывно читал в тот день, меня особенно поразило одно место: «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7: 14). Я-то все время думал о том, как она рождает, как трудно ребенку из утробы выйти в наш мир, как вообще мучителен путь из небытия в бытие: через мириады невообразимых к оплодотворению, гибнущих семян, через непостижимую зыбкость и шатание мировых устоев, из которых внешняя, социальная среда, при всей своей удушающей тесноте, – еще самая, быть может, благоприятная для выживания. Сколько гибнет их там, в темных океанических недрах жизни, в хаосе первобытного вещества, в причудах и зверствах эволюции! Да, Твоя правда, Господи: «узок путь». И маленький, поспешающий к нам тысячей долгих, темных, извилистых путей, где легко затеряться и пропасть навсегда, – вот перед ним, уже почти дошедшим к нам, и встали эти самые тесные врата. И бедная моя там одна: через ее плоть и ведет этот узкий путь. Мать, выносившая плод, теснит его своей плотью, с трудом выпуская в жизнь; а он разрывает ее плоть, раздвигая врата... Даже тут, на выходе к жизни, – борьба, и между кем – матерью и дитятем, самыми близкими существами. Господи,пусти!

II. Встреча

Первое, что я почувствовал, взглядевшись в нее, – это мгновенное ускользание своего «я», странность самопропажи. Что-то вроде двойничества промелькнуло между нами: если это – другой, то кто же тогда я?

1

Когда и где я впервые увидел её? Двадцать первого дня седьмого месяца 1979 года, в семь часов вечера, в окне на четвертом этаже серого блочного дома, на московской окраине, в Матвеевском. Было ей всего три часа от роду. Черты ее были смутны и, казалось, не только из-за отдаления – матовая, рассеивающая оболочка еще не спала с нее, и только голова виднелась в проеме окна, какая-то одутловатость, припухлость; остальное отступало в непроглядный туман. Это очертание головы так и осталось в ней главным моим подобием – но потом-то оно растворилось во множестве других замечательных подробностей (уже не моих): волос, глаз, ушей...

Первое, что я почувствовал, взглядевшись в нее, – это мгновенное ускользание своего «я», странность самопропажи. Я даже сделал мысленно какой-то жест, будто ощупывая карманы, – не потеряно ли что? Этим «что» был я сам, вдруг исчезнувший неведомо куда с тою же непреложностью, с какой она вдруг появилась неведомо откуда. Так долго я в нее вглядывался, ища и находя в ней себя, что себя-то на миг и потерял, вплоть до кружения головы и почвы, уходящей из-под ног. Что-то вроде двойничества промелькнуло между нами, с его жутким, многократно описанным эффектом первого узнавания: если это – другой, то кто же тогда я?

Лишь потом, не сразу, я научился различать ее и свое место в мире... Но первое недоумение оказалось в каком-то смысле прозорливым: во мне с той поры и впрямь наметился крен к небытию, к стиранию своего «я»...

Так я впервые увидел ее – слегка ослепленный напряжением собственного взгляда. Из-за тридцати земель мы встретились, и встреча наша была призрачнее иной разлуки: и расстояние между нами, и ее сон – все разделяло нас. Но мы были уже на одной земле, нас уже освещал один вечеряющий июльский свет, и этих немногих общих примет было достаточно для первого свидания.

2

Не только в первых моих воспоминаниях, но и на первых фотографиях ее черты неуловимы, неузнаваемы. И снимки-то получились неудачные – серые, сырые, размытые, но это лишь внешне проявляет неотчетливость самого лица: с какой точки ни снято, все чего-то не хватает для ясного впечатления. Кажется, что главное на снимках не получилось, ушло куда-то в тень: невыявленность целого. Как будто нет в пространстве такого фокуса, откуда ее черты могли бы обрести резкость. И на всех этих снимках, сделанных «сгоряча», на пятый день ее жизни (сразу по прибытии из роддома), – разные лица, несводимые к одному: чем-то похожие то на лягушонка – с растянутым ротиком, то на воробушка – с острым носиком-клювиком и быстрыми глазками, то как на портрете Э. Т. А. Гофмана – лицо узкое, слегка одутловатое и брюзгливое.

Вообще, вся она в первые дни и недели своей жизни являлась мне из какого-то далека – смутно, будто сквозь сон. Она и в самом деле спала почти все то время, и лицо с закрытыми глазами было словно и для меня закрыто, обращено в себя, уходило в тень сомкнутых ресниц. Хотя я и подолгу разглядывал ее вблизи, между нами оставалось неодолимое расстояние; вся ее начальная пора проходила под знаком той первой встречи, когда я видел ее за стеклом, сквозь густеющий вечерний воздух.

Даже дневник, заброшенный в день ее рождения, я возобновил позже, когда ей уже исполнился месяц, а все более раннее погружено в дымку воспоминаний. Почему я не писал сразу, с первых дней? Домашние перестройки, переезд на дачу, болезни, хлопоты? – нет, не внешние обстоятельства отвлекали меня от нее, но сама она была еще чем-то совсем отвлеченным. И так оно, видно, и должно быть: вокруг этого темного провала в инобытие туман клубится, и не нужно, да и не под силу нам его разогнать.

Когда я вглядываюсь в эти первые, робкие ее очертания – на снимках или в памяти, – меня покидает чувство реальности, я уношусь в область каких-то мифических преданий, где персонажи легко переливаются друг в друга, меняются обликом, плывут и колышутся, как облака. И даже самое реальнейшее – документ, этот вечный враг и разоблачитель мифа, – в данном случае только подтверждает его. Представьте, что на снимке показан момент превращения Зевса в лебедя: не скульптура или фреска, а то, как это было на самом деле. Какой-то фотограф-любитель путешествовал по островам греческого архипелага и вдруг напал на сенсацию. Но ведь у меня в руках, на ее ранних снимках, такое же подтвержденное чудо: вот деточка-лягушечка, вот – воробышек, вот – писатель Гофман... неправдоподобие облика, выдающее правду о продолжающихся метаморфозах.

3

Кстати, откуда у маленьких детей и первобытных народов мифологическое, с нашей точки зрения – причудливо-фантастическое, восприятие действительности? Не оттого ли, что их предыдущая жизнь – в утробе, до рождения – такой и была и еще свежа в их памяти: непрерывное перевоплощение из одной формы в другую, сквозной пролет по всем ступеням животного царства? Изучение зародышей раскрывает не менее широкие возможности сращения и превращения форм, чем фетишистские и анимистские предания древности. Собственно, эмбриология – это и есть научно подтвержденная мифология, учение о метаморфозах всего живого, только не под солнцем, а под солнечным сплетением. Однако ведь и нет непроходимой грани между двумя мирами: рождаясь, младенец переносит с собой законы одного в бытие другого. Вокруг него – уже просторный, напоенный воздухом и осиянный солнцем мир, где каждое существо – «особь» – живет само по себе. А младенец еще во многом подвластен законам внутрителесного пространства, где «все становится всем», одна и та же форма жизни, как в мифе или сказке, проходит множество внутриутробных превращений.

Мифология – это эмбриология земного бытия, это утробные превращения в нашем прерывном пространстве, это зародышевое – в рожденном, обмен логиками двух миров – нутряного и наружного. Поэтому естественно, что раннее детство, когда два эти мира теснее всего накладываются друг на друга, есть самая мифологическая пора: младенец мифически воспринимает окружающий мир и сам мифически воспринимается им. Его полупрозрачные тельце и личико просвечивают фантастическими формами инобытия.

Мифология примерно так же связана с рождением, как философия со смертью. Сократ говорил, что философ – это человек, который всю жизнь учится умирать, его девиз – *memento mori*: помни о смерти. И в самом деле, философия имеет дело с чистыми понятиями и сущностями, уже освобожденными от плотской изменчивости и многообразия, скинувшими свою земную оболочку и приобщенными к вечности, как и душа, покинувшая свое брренное тело. Мифология, напротив, обращена к началу, к сотворению мира, где вещи находятся в бурном, расплавленном состоянии. Они еще даже не разделились, не обрели устойчивых очертаний, не подчинились формально-логическим законам тождества, противоречия и исключенного третьего. «А» не равно себе и не противоречит «не А». Мифология – это бушующая магма, огненные, рождающие недра земли, тогда как эмпирическая наука – охлажденная, доступная обзору и измерению поверхность, а философия – это чистое, бескрайнее небо, куда уходят души умерших. От мифологии – через эмпирику – к философии идет постепенное замедление всего хода вещей, их остывание, разграничение и, наконец, полная остановка и вечное равенство себе. И если философия – это приготовление к смерти, привнесение ее отрешенности и покоя в жизнь, то мифология – это верность чреву, перенесение зародышевого бурления и неистовства в мир рожденных.

В противоположность старцу-философу, хладнокровно выпивающему чашу с ядом, символом мифологии можно представить младенца, жадно прильнувшего к материнской груди. Девиз мифологии – помни о рождении, *memento nasci*, пронеси через жизнь память о внутриутробных превращениях и ту волю к чудесному, которая создала тебя самого. Мир – все еще не остывшее чрево, неистощимое в волшебствах образования и преображения вещей.

4

Теперь я могу хотя бы отчасти уяснить для себя и жанр, в котором пишу. Сначала мне казалось – просто дневник, куда прилежно заносятся подробности каждого дня. Пособие для будущих воспоминаний. Но слишком много фантастических домыслов и бездоказательных аналогий сразу проникло в мой дневник, угрожая нарушить аскетическую чистоту его жанра. Отказываться от всех этих умозрений я не могу, потому что без них ничего не понимаю в самих текущих событиях, их ошеломляющей новизне. Так, все более и более отступая от документальной строгости, я прихожу к догадке о *мифо-логике*, то есть о логике тех внутриутробных превращений, которые во многом еще подчиняют жизнь новорожденного существа.

То, что я пишу, – это дневник и вместе с тем свод мифологических преданий о незапамятных временах, о сотворении человека, о начале начал, теряющемся во мгле небытия. Происхождение мира в свидетельствах очевидца. Документ о метаморфозах. Правда о превращениях. Ложь всех определений. Мифологический дневник. Эмбриологическая летопись. Все это – приблизительные обозначения одного и того же жанра, который, в сущности, также зыбок, малоопределен и многообещающ, как и все, что едва-едва родилось, в чем брезжит еще туманность зародыша-замысла.

5

Вот я, склонившись над ней, разговариваю, а она что-то гулькает, улыбается в ответ – и вдруг подается ко мне всем тельцем и взмахивает ручками. И часто-часто так делает, словно пытаясь взлететь, – не чуя земли и вручая себя воздуху, как будто сами эти стихии еще не разделились для нее. Второй и третий дни Творения, наверно, еще впереди.

Главное в искусстве взлета – это умение с такой легкостью отдаться воздушной стихии, чтобы она сама тебя подхватила. В какой-то миг важно замереть, остаться без сил, отказаться от усилий. Рвутся вперед лишь существа, обреченные на тяжелый, прерывистый шаг. И в ней есть это замирание – свойство, рождаемое привычкой ко сну, который близок таинству полета, невесомого, заоблачного парения. Во всех ее жестах есть та беспрепятственность и окрыленность, с какой делается только нечто прекрасное, легкое и безошибочное.

Однако она ничуть не обижается, когда воздух обманывает ее доверие и притяжение мягко забирает ее назад. Ни возмущения, ни борьбы, ни удрученности своей неудачей! Словно ей и птицей естественно быть, и от самой себя, от своего человеческого груза она отказываться не хочет, и ей даже нравится чередовать эти два состояния. Туда – сюда, вверх – вниз, взлет – падение... Уж не первая ли в жизни игра с уготованным самой природой партнером, которого обретаешь, едва родившись на свет, – с земной тяжестью?

6

Теперь, когда я пишу *она, ее, с нею*, я ощущаю всю меру женственности, заключенную в этих словах. Ведь раньше, до ее рождения, мы думали только *он, его*. Несмотря на все приметы и разуверения искушенных женщин, Л. упорно чувствовала в себе сына и почти не поверила своим глазам, когда акушерка показала ей девочку. «Не ошибка ли? Мой ли это ребенок?» – первое, что пронеслось в голове и от чего кольнуло сердце. И у других наших знакомых женщин почему-то было, как правило, предчувствие мальчика, даже если хотели девочку.

Может быть, это ощущение мужского плода неотделимо от самой природы беременности? Мужчина входит в женщину и остается в ней семенем – естественно ей и ощущать в себе мужа, его уменьшенное подобие – сына. «Понести от мужа» его частицу, его плоть и кровь – значит понести мальчика, по пословице «Что посеешь, то и пожнешь». Рождение девочки слегка озадачивает: это как бы внеполовой способ размножения, без участия противоположно заряженной силы. Женский организм воспроизводит себя, как соматическая клетка, – делением, а не совокуплением, как клетка половая. Словно и не было никакого мужчины, и женщина одна, сохраняя свое девство, произвела подобную себе. Вот почему по обычаю отец чаще хочет сына и гордится им как свидетельством своей мужской силы и власти над женщиной: победил в любовной борьбе, утвердил в ее лоне себя – свое подобие... Тогда как девочки чуть-чуть стыдятся, словно проявил слабость – жена и без него могла обойтись в таком простом деле: взяла и раздвоилась. Такова безотчетная мифология.

И сам я попался в эту маленькую ловушку. Когда улеглось первое, не знающее границ ликование, я ощутил нечто целомудренное и смиренное в том, что родилась девочка. Это был свет, а не огонь, это не жгло, а сияло – холодноватым голубым светом. Я испытывал не восторг победы и самоутверждения, а благодарность приятия, удостоенности, словно не сам я это сделал – это было сделано *для меня*.

Я не понимал тогда, какие возможности открываются мне именно благодаря моей изначальной «непричастности». Действительно, в сыне резче ощущается «зачаточное» влияние отца, по праву гордого своим маленьким подобием. Но не заложено ли в этом изначальном, чересчур самолюбивом торжестве предвестие будущих обид и отступлений? Я говорю о тех отцах, в которых рождение сына укрепляет самодержавный образ мыслей. С женщиной у него до сих пор была только семья, а с первым мужчиной, подданным, сыном, у него появляется и государство. Маленькое, домашнее, очень удобное: режим геронтократии.

Рождение дочери не располагает, слава Богу, к диктаторским замашкам, пробуждая скорее рыцарские инстинкты. С появлением дочери в семью привносится что-то новое, но не государство как следующая за семьей ступень социальной жесткости, а, наоборот, предшествующая семье форма существования – «роман», беспечная и мечтательная влюбленность отца и дочери. Не имея основания гордиться своим подобием как уже чем-то достигнутым, завоеванным, отец в лице дочери получает другую возможность – предчувствие будущих узнаваний, сближений и встреч.

Но это еще впереди – пока я лишь испытываю вдруг ожившую, освежающую прелесть слов: *она, ее, с нею*. И самого главного слова, женственного от первой до последней буквы, круглого, мягкого, певучего, произносимого так, будто целуешь воздух: ОЛЯ.

7

До рождения Оли мы не только были уверены, что у нас родится мальчик, но и представляли его себе определенно. Худой, с удлинённым лицом, созерцатель, странник, бредущий по миру с рассеянным взглядом и от всего немножко далекий. Такой образ сложился из «его» слабых толчков, утробной кротости. А получилось совсем иначе: плотная, упитанная девочка, круглолицая, деловая, очень упорная, все время чем-то занятая. Не только другой пол, но и противоположный характер.

Уже в этом должен быть какой-то смысл, прямо к нам обращенный: одно дело – ошибиться, другое – вообразить ровно наоборот. Что это? Удар по нашей рассудочности, привычке управлять природой? А может, это не против нас, а за нас, в защиту от самих себя? Ведь мы, в сущности, представляли своего будущего ребенка таким, будто он не от нас, а от других родителей. Людей привлекательных, но загадочных и чужих. Ну в самом деле, откуда у нас мог родиться худой, отрешенный, беспечно-рассеянный, с удлинённым лицом – в кого? Это, скорее всего, было блуждание нашего духа, которому мы придали зримые очертания, – духа мечтательного, который как бы отталкивался от того, что мы есть на самом деле. Ребенка мы неосознанно представляли совсем на нас непохожим, искуплением нашего несовершенства. А получилось – именно в плоть и кровь нашу, и так оно и должно быть: чтобы мы не мечтали от самих себя отделаться, чтобы мы *свое сумели полюбить*.

Кажется – трудная ли наука! Но ведь большинство родителей так и считает, что дети им даются для исполнения несбывшихся надежд, для переименования своей неудавшейся судьбы. Чего нет во мне – пусть будет в нем. За мои недостатки пусть ему воздастся. Но может быть, ребенок для того и дается, чтобы мы, недовольные собой, вдруг сумели бы полюбить себя, точнее, полюбить в ребенке то свое, что мы в себе не любим. Хорошо ли это – любить себя и свое? не гордыня ли? Теперь я думаю, что гордыня – это НЕ любить себя, каков есть, роптать на Бога, взывая к лучшим дарам, иной участи.

И вот дети нам даны, чтобы мы к себе обратились, руки свои загребушие и глаза завидующие от чужого бы отвели – и вдруг восхитились бы тем, что в нас самих заложено. В труде нашего самоуважения дети – первые помощники. Ведь невозможно в своем ребенке не полюбить даже и того, что в себе не нравится: и неказистости, и норовистости, и родимых пятнышек – тут всему сыщется оправдание и умиление, словно забытый смысл просвечивает сквозь грудку случайных подробностей. В ребенке мы видим себя как на переводной картинке: что казалось тусклым и скучным, здесь радуется чистым блеском.

Я бы так определил родительство: искусство примирения с собой.

8

У нас по-прежнему бывает много гостей, но мы впускаем их как вернувшихся домой хозяев – сами знаете где и что, распоряжайтесь! Действительно, они хозяева в этой жизни. Новорожденный – вот кто настоящий гость, вокруг которого сразу начинается праздник и обряд гостеприимства: борются за его внимание, смеются, умиляются, оживление не сходит с лиц. И это всегда и везде, где есть маленький ребенок, – он поневоле вызывает, даже у совсем посторонних, ту улыбку, с какой хозяин распахивает дверь перед гостем: восторженные возгласы, удивление, дружеское похлопывание.

Видимо, эта радость при виде ребенка и есть феномен гостеприимства, возведенный в мистическую степень. Принимая его, прибывшего из страшного далека, неведомыми и опасными путями, мы совершаем великое таинство, приобщаясь к высокому сану Хозяина. Мы ничего не жалеем для пришельца, потому что своей абсолютной незащищенностью и неискушенностью он пробуждает в нас милосердие. Самый заурядный и неприметный становится в его присутствии всеведущим и полновластным хозяином, настолько этот малютка – подлинный гость, пришедший к нам не из другого дома, а из безжизненной пустоты. Скудное имущество мира сего умножается, когда дарится неимущему. И этот праздник в обстановке изобилия не кончается, потому что если все другие гости быстро обвыкают и чувствуют себя «как дома», то этот – надолго, всему удивляется и всех удивляет.

Знаменательно, что наибольшим почетом дети окружены у тех народов, которые славятся гостеприимством. Например, в Закавказье высшая почесть воздается всем приходящим – из дали пространства и глубины времени. Все лучшее, неограниченная свобода и изобилие – новоприбывшим, себе в утешение. Они издалека, им нужнее. Таков общий расчет жизни – на чрезвычайные обстоятельства странника.

Призрением скитальца мы подтверждаем нашу собственную оседлость. У Гёте есть стихи:

И доколь ты не поймешь:
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой⁵.

Это о подготовке к отходу *туда*, но это правда и по отношению к жизни, приходящей *оттуда*. Вот и я жил «хмурым гостем», пока не пришла новая жизнь и не превратила меня в хозяина. Так понять гётевскую «новую жизнь»: как рождение ребенка, а не собственное воскресение («смерть – для жизни новой»), – мне пока легче, да ведь и означает это, по сути, одно и то же. Старик ли отправляется в мир иной, младенец ли приходит из мира иного – важно под домашнему обосноваться в вечности, а не сиротски сидеть у порога.

Не покидая эту землю для иных краев, а принимая на ней далеких пришельцев, наиболее достоверно укрепляешься в своем чувстве хозяина. Ты гость, пока сам не принял гостя.

⁵ И. В. Гёте. «Блаженное томление», из цикла «Западно-Восточный диван»; перевод Н. Н. Вильмонта.

9

Присутствие младенца в доме всегда можно ощутить по его дыханию. Этот долгий, шелестящий звук, будто пальцами проводят по шелку, устойчивее и памятнее всех прочих моих впечатлений от ранней поры. Как дождь – звук осени, так дыхание – звук младенчества. Даже когда Оля вдруг затихает или погружается в сон, все равно эта тишина наполнена плавным шелестом, как будто кусочек леса с дуновением ветра поселились в комнате.

Младенец дышит явственно, в отличие от взрослого, умеющего дышать незаметно, и в этом напряжении сил, вложенных в легчайшее дело, есть прелесть ответственного и трудолюбивого отношения к жизни.

У Бунина в рассказе об Ольге Мещерской говорится, что главная прелесть молодой женщины вовсе не в чертах лица, не в формах тела, а в «легком дыхании». Неслышность обращения с воздухом, как будто она сама из него состоит. В моей же Ольге умирительно как раз то, что она дышит веско и основательно, втягивает воздух, как густое питье, вкушая саму плоть мироздания. Это хлюпанье, посапывание, причмокивание, это упорное освоение прозрачной и невесомой субстанции, сласть и нега, извлеченные ниоткуда, рвение, направленное в никуда, – воздух, блажь, безделка... Во всем этом старательном и торжественном обращении с легчайшей из материй ощущается достоинство жизни, которая значима сама по себе, независимо от того, чему она служит и какие задачи выполняет. Если взрослая женщина притягательна тем, что тяжесть земного бытия в ней убывает, растворяется в кружевах, оборках, легкой поступи, легком дыхании, во всем воздушном облачении ее существа, – то маленькая очаровательна своим наивным усердием, той важностью, с какой она просто дышит, выполняет первый свой земной труд.

Оттого еще так приятно слушать дыхание ребенка, что тут звучит сама первооснова жизни – не произвольные, обрывистые наши речи, а само мироздание в его вечном трепете расширения и сжатия. Дыхание – тот рубеж, переходя который жизнь обращается в свою губительную противоположность. Плоть без дыхания мертва, но то, что она делает помимо дыхания, как-то мучительно, хитро и хищно. Жует, бежит, хватает, кромсает – всюду что-то поглощается, попирается, отбрасывается, всюду борьба и взаимное зло. И только дыхание ни на что не покушается, никого не терзает – лишь питает и животворит. Дыхание – воплощенная справедливость: что беру, то и даю. Вдох – выдох, мир во мне – я в мире... Полное равновесие внутреннего и внешнего, без взаимных обид и притеснений. Самодостаточность, ненасилие... Как жизнь легка, когда она вся сосредоточена в легких, в замкнутом круге, и не пытается разорвать его ни для трудового вторжения в окружающий мир, ни для вкушения яств этого мира. Недаром они – *легкие*, только ими-то и живется легко.

Не к этой ли легкости устремлен и Лермонтов в одном из самых пронзительных и загадочных своих стихотворений «Выхожу один я на дорогу...»? Уйти от боли и труда жизни, но не в смерть, не в бездыханный покой... Только дышать – и ничего больше, жить на минимальном пределе, безвредно для других, безболезненно для себя, – просто жить.

Я бы хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь...

Что это за странность – жить одним только дыханием? Где дано человеку так неподвижно спать, если не в могиле? Да в колыбели! Это младенец так живет – безмятежно, во сне, одним

лишь дыханием. Вот лежит он в своей постельке, грудь чуть вздымается и опадает, вырисовывая ребрышки, а все тельце неподвижно, словно не желает участвовать в многотрудной жизни: ни погоней, ни бегством, ни одинокой ходьбой по пустынной дороге – ничем, кроме тихой радости дыхания. И дальше:

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

Тут все колыбельно, все представимо лишь через младенца: ему, лежащему в колыбели, колыбельную и поют, лелея слух любовным напевом (как у самого же Лермонтова в другом стихотворении: «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю»). А дуб, склоняющийся и шумящий, – ведь это голос того же ветра, поднебесного дыхания, которое частичкой своей замкнуто и в человеческой груди. И как щедро дышит дерево, даря человеку все, чем он жив! Так что лежать под вечно зеленеющим дубом – это прильнуть легкими к легким, встретить вдохом чистейший кислородный выдох, найти для себя неиссякающий источник дыхания, жизни безбольной и безбрежной, как сам воздух. Так все смыкается у Лермонтова в прекраснейшую утопию, прообраз которой – колыбель.

А вот и реальное воплощение этой картины: детская коляска стоит у нас в саду, под шелестящей листвой. Оля спит, я сижу рядом и, стоит ей встрепнуться, чуть покачиваю коляску, что-то мычу или мурлычу, чтобы она и дальше так же ровно дышала. Именно так, как описано в стихотворении, она и прожила на даче больше месяца, с августа по сентябрь, только не под дубом, а под яблоней, да и голос, певший ей о любви, не так уж был сладкозвучен.

Я всегда любил это стихотворение Лермонтова, но плохо понимал его последние строки: они мне казались смутными и значительно уступающими началу где пронзают боль и одиночество взрослого человека, бредущего пустынной дорогой, чуждого всему мирозданию. Таким я, наверно, и был, пока не очутился в этом саду, где все только дышит и сливаются все дыхания: ветра, дерева и младенца.

10

Вот и сам я часто подхожу к ней, просто чтобы подышать ею, вобрать все то чистое, млечное, парное, чего нельзя уловить ни слухом, ни взглядом. Запах моей девочки становится для меня почти так же необходим, как воздух, – я то и дело ощущаю его нехватку и отправляюсь за очередной порцией, раз десять-двадцать на дню пополняя легкие свежим запахом, с которым и живет, и думается как-то бодрее. Самое любимое воспринимается именно так – нюхом, как нечто эфирное, веющее. Не зря ведь говорят: «Он на нее не надышится». Это, по-моему, значит: очень уж любит и хочет всю в себя вдохнуть, вобрать, да вот, бедный, никак не может и все дышит, дышит ею – не надышится.

А дитя потому еще воспринимается преимущественно легкими, что все оно, как облако, тает, пропадает для более определенных ощущений: взгляду смутно, вдоху же открыто, все пронизано воздухом, да и само ведь только и делает, что дышит. И влечет навстречу – дышать собой.

Этот младенческий запах какой-то особенный – продувной, как будто ветерок по коже гуляет. В сравнении с ним взрослые запахи душноваты – набрякли, уплотнились каждый в своей ложбинке. Что же до всяких цветочных и производных от них парфюмерных запахов, то в них, напротив, мало плотского – холодны, прозрачны, теплом не дышат. Запах младенца – посередине, на пути превращения: он ветренее и легче, чем у взрослого, но теплее и уютнее цветочного. Это как бы и не запах даже, а встречное дуновение, исходящее от всего детского тельца. Ни одна пора еще не закупорена, дышит, как крошечная ноздря, и оттуда набегает теплый сквознячок, овеивает меня. И сладостно уткнуться губами в эту кожу и шептать что-нибудь глупое, совсем незначущее, ощущая, как мое же дыхание возвращается ко мне, обвеянное уже не моим, а солнечно-чистым, медово-млечным запахом.

И живот хорошо целовать, и ножки, но особенно головку, потому что вокруг нее теплый ореол из волос, так что младенческая плоть, и вообще воздухоподобная, здесь вся еще в запахе, настоящем и хранимом, как в чаше. Во всех других местах – резкая граница прохладного воздуха и теплой плоти, а тут, перепутавшись в волосах, они рассеиваются друг в друге. В этом нежном переплетении как бы высший вопрос решается – о том, чтобы духу воплотиться, а плоти одухотвориться.

И приникая к этим волосам, перебирая их губами, я чувствую здесь, в мягкой их поросли, самое родное свое место на земле, где должна была бы обосноваться моя душа, чтобы беседовать с ее душой, – здесь, заблудившись среди волос и вслушиваясь в корни их, предавшись тихому беспмятству и блужданию... По народным поверьям, темя священо: через невидимое отверстие в нем душа проникает в тело родившегося и покидает тело умирающего. Не оттого ли и моя душа устремляется к этому зыбкому родничку – вслед за ее душой, только-только туда вошедшей, тщетно пытаюсь ее настичь.

III. Тайна

Ответ, которого я жду от нее, глубже, он таится в ее молчании, в каком-то ее труднодоступном «я», о котором я в самом деле не имею представления.

1

Наилучшее настроение у нее бывает по утрам, сразу после пробуждения, когда открываются ей свет и простор, будто заново родилась. Улыбка, звонкое гуление, широкие взмахи – целое оркестровое представление, в котором она – и дирижер, и исполнитель; и все в ней движется и играет в такт неслышной мелодии: ручки, губки, глазки.

Потом, к середине дня, она уже, видимо, устает от долгого непривычного бодрствования, начинает сердиться, и те же самые размашистые жесты вдруг неуловимо меняют свой смысл: из одаривающих превращаются в отторгающие. А к вечеру ей становится еще труднее жить... Поразительно, насколько умирание дня, угасание солнца, прямо как в растении, отражается в ней. Не нажито еще никаких защитных слоев, и день – впрямую жизнь, а ночь – впрямую смерть. И кажется, она боится этого мрака, который напоминает ей о чем-то... Внешний мир отступает, и она остается одна, в глухой утробе ночи, словно и не рождалась на свет.

Но самый пронзительный плач бывает у нее перед погружением в сон. На этой грани, с которой нам так легко и плавно соскальзывать, овладевает ею какое-то нестерпимое отчаяние. Сначала жалобное лепетание, горестное собирание всего лица в один сморщенный комок, потом закатывается, уже не осиливая собственного дыхания, – истошно рвется крик, опустошая грудь.

И почти сразу же – стоит только завернуть ее в одеяльце – смежает веки и, все еще всхлипывая, с заплаканным лицом, точно в мир скорбей и утрат, входит в сон.

2

Иногда она плачет не раскрывая глаз, и это особенно страшно, потому что мы оказываемся в стороне, бессильны отогнать невидимую угрозу. Мы могли бы попытаться спасти ее от стихийного бедствия, от бури и огня, но ведь тут изнутри что-то неведомое надвигается на наше дитя, перед чем остается только отступить, разбудив ее осторожными касаниями и поцелуями. И тогда, раскрывая глаза, разминаясь и потягиваясь, она вдруг расцветает в улыбке и снова начинает нам принадлежать. Мы не победители – мы только спасатели, мы бежим с поля боя, унося единственную свою драгоценность.

Но порою мне кажется, что тот новый дневной мир, куда мы все дальше ее вовлекаем, и есть причина ее ночного плача. Из бесплотности, невесомости мы загоняем ее в нашу яркую наступательную действительность, которая – по мере телесного роста – все плотнее окружает ее душу. Коготок увяз – всей птичке пропасть, то есть душе. И во сне, обретая прежнюю крылатость, она мучится этим взваленным на нее грузом дневных впечатлений, оседает, кричит. Все увиденное само теперь водит ее зрачками, изнуряя призраками минувшего дня. Они возвращаются к спящей душе, как грозное нашествие. И чем глубже младенческая душа, предводительствуемая нами, вторгается в этот боевой дневной мир, тем больше страдает она во сне, в приемлющем своем состоянии, когда все, ею освоенное и достигнутое, обращается против нее. И значит, мы не спасатели – мы виновники ее ночного страдания.

3

Однажды – ей исполнилось 52 дня, ровно седьмая часть года, – проснулась поздно вечером совсем странная, сама не своя: широко округлившиеся глаза и немое шевеление губ, произносящих неслышное, но совершенно осмысленное и внятное сообщение.

Поразительна именно определенность, вдруг проявившаяся во всем ее младенческом беспорядке и лепете, какая-то четкая, почти жесткая складка, отточенность жестов и мимики, явно не нам предназначенных. Словно пробуждение ее было досадной промашкой, и она чуть-чуть разминулась с кем-то в пространстве и времени, открыла не ту дверь и увидела нас, не успев сменить выражения на лице. Присутствие чужого в ней ощущалось теперь острее, чем когда она плакала во сне, – это незримое уже вышло из подполья, глядело на нас ее зрачками, с каким-то загадочным, лунным отливом, – так смотрят, когда пытаются одним только взглядом, мерцанием внутреннего света внушить определенную мысль. В этом было что-то не детское и даже не равное нам, а древнее, умудренное...

Мне вдруг почудилось, что она прошла уже опыт добра и зла, способна быть искушенной и искушать; что она еще только *будет* младенцем – через несколько месяцев или лет, а сейчас она старше нас на тысячу лет, и мы как-то теряемся перед ней, люди с одной жизнью, возмнившие себя родителями, творцами. Я почувствовал себя одним из многих в череде лиц, бесконечные века перед ней мелькавших, ей служивших. Так выросла она передо мной в нечто исполинское – а наутро снова стала крохотной девочкой, с чистыми, любопытными, совершенно детскими глазами.

И мне представилось, что вот я мыслю счастье близости с ней, долгого сопутствования по жизни, а ведь я не знаю, чья в ней душа, не чужая ли? Не для испытания ли нашего эта душа пришла на свет, вселилась в родную нам плоть?

Родить – еще не значит знать и владеть. Этим рожденное отличается от произведенного, которым уверенно распоряжается мастер, ибо ведает, что творит. Плод вынашивается скрыто от самих родителей, и материнское чрево даже является символом всяческой тайны и непознаваемости. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает все» (Екк. 11: 5). Общая трагическая неуверенность человека в последствиях своих дел тяжелее всего довлеет рождению, ибо нет ничего ближе, чем своя зачатая плоть, и нет ничего отдаленнее и сокровеннее, чем ее путь через тебя, к тебе и от тебя. Чужость в собственном ребенке, его загадочность есть нечто неустранимое, отделяющее родителя и от ремесленника, знающего наизусть свое изделие, и от Творца, читающего в сердцах своих живых созданий.

4

«Кто это к нам пришел? Кто так глядит на меня? У кого такие большие глаза? Кто любимый такой?» – эти и подобные бессмысленные вопросы невольно слетают с языка, когда я вожусь с Олей, тискаю, беру на руки. Вроде и риторические вопросы, склад речи – банальный, все родители так говорят, но в самой неодолимой навязчивости этого штампа ведь должно же быть какое-то содержание! Почему так в душе у меня проговаривается: кто да кто? Разве я не знаю, кто передо мной? Дочка моя, Оля. Но ведь это мои собственные слова, которые мне ничего не объясняют. Ответ, которого я жду от нее, глубже, он таится в ее молчании, в каком-то ее труднодоступном «я», о котором я на самом деле не имею представления. И вот я повторяю: *кто? да кто?* – первый вопрос, с каким обращаются к пришельцам из неведомых земель. Но кто такие иноземцы и инопланетяне в сравнении с ней, явившейся ниоткуда!

Этот «кто-то», о котором я спрашиваю, не только не может сам ответить, но, вероятно, и не слышит меня, погруженный в музыку иных сфер. Вот почему я беспрестанно уточняю свой вопрос, пробую его во все новых вариантах и интонациях – так интервьюеры осаждают имени-того визитера, надеясь, что какой-то из их очередных вопросов чудом прорвется сквозь многоязычный гам до элитарно-замкнутого слуха. Как лучше, понятнее спросить, чтобы повернулся наконец ключ в ее неприступной душе? «У кого такие темные реснички? У кого такие игрушечные пальчики?» В самом деле, у кого? Может быть, эти вопросы, которые так невольно и настойчиво срываются с языка, – не пустой стереотип, а самое глубокое во мне, озабоченность тайной ее прихода ниоткуда. И все «позитивные», «содержательные» высказывания: «Открой ротик», «Вот пойдем сейчас мыться», «Подними-ка ручку» и прочие – мелки в сравнении с этим вечным, проклятым философским вопросом. Как из ничего получается кто-то?

И не потому ли еще пристают с этими дурацкими вопросами к маленьким детям, что в них очень ошутим «некто», еще не выраженный, бессловесный? По мере того как человек взрослеет, разница между ним и «некто» стирается, он становится «кем-то». Жесты и манеры делаются более осознанными, целенаправленными, а душа – более ограниченной рамками своего выражения. Во взрослом есть полное владение собой, совпадение наружного и внутреннего «я», которые сжились, притерлись друг к другу. И потому нелепо спрашивать, кто это сопит и сморкается так громко, кто стучит сапогами, кто надевает пиджак – ясно, что это делает Иван Иванович и никто другой, сомневаться в этом нелепо. Но вот подобным же образом спрашивают детей, и это уже не бессмыслица, а точная догадка: в детях есть этот невоплощенный «кто-то», о ком можно только спрашивать, не предполагая ответа. Есть тот, кто еще чужд всему, глядит издалека, отрешенно – потом он выйдет нам навстречу, станет тем-то и тем-то (в утвердительной форме). Но это будет уже кто-то другой – не тот *кто-то*, кого мы жадно вопрошаем сейчас, пока он еще не исчез: кто? кто? кто?

Нет, не разгадки мы требуем, мы просто укрепляем в себе сладко-томительное чувство загадки.

5

Есть в Оле и встречная расположенность к приятию тайны. Уже с трех-четырех месяцев она умиляла меня своим отношением к шепоту: сразу настораживалась и замирала, как только слова произносились тихо, с той бережностью, какой требует хрупкость тайны. Когда я обращаюсь к ней громко, она может и кричать, и руками размахивать, и вовсе не удостаивать меня вниманием; но шепот вызывает в ней мгновенную сосредоточенность, удивительную в столь неумно-подвижном существе. Не потому ли, что шепот есть самый явный знак прикосновения к чему-то сокровенному? По мере затихания слова вырастает его неслышная смыслонасыщенность, и ребенок бросается на этот звук, как на что-то родное. Может быть, там, откуда он пришел, говорили такими же вот приглушенными голосами или вовсе молчанием?

Эта способность к интимности, к «секретничанью» дается, как я теперь понимаю, врожденно, «оттуда». Нам, привычным к «шуму мирскому», уже не отозваться с такой готовностью на горячий, щекотливый, бессмысленный шепоток. Оля же сразу отключается от всего внешнего, даже шумного и завлекательного: зрачки вперяются в непроявленный смысл, и вся она – сплошная неподвижность и поглощенность важностью тайны.

Легко с тобой, милая, быть заговорщиком! Ты сама еще только-только вышла из подполья, и всякие секреты привлекают тебя благородством и глубиной задачи – всеобщего внестояния, уединения каждого с каждым. Всякое укрывательство и укромность – по нраву тебе.

И вот я остаюсь с тобой один – как бы для исповеди или посвящения. Ты замерла, вслушалась, затаилась. Но что же я могу сказать тебе? Я шепчу: «Маленькая, родная, Олечка» – этого ли ты от меня ждешь? Когда все слова, которыми владею, станут тебе понятны, что смогу я по праву тайны тебе прошептать? Да и есть ли вообще на этом свете слова, достойные того замиранья и отдачи, с которыми ты готова их слушать?

Или как ты никогда не ответишь на мое беспрестанное «кто?», так и я никогда не сумею ответить на твое безмолвное вопрошание, пытливое вслушивание в мои незначащие слова? Нет у меня тайн, которые я мог бы тебе раскрыть, – кроме той единственной и воистину непостижимой, что ты, моя плоть, сейчас рядом со мной и слушаешь меня. Я ведь и шепчу для того только, чтобы между нами возникла тайна, чтобы еще глубже и горячее сплотиться с тобой, через чуткую раковину твоего уха достигая тайная тайных твоей души.

6

В последние наши дачные дни, во время долгих прогулок по опустевшей сентябрьской местности, я особенно сроднился с тобой. Вот иду я с коляской мимо притихших дворов, поредевших деревьев. Как обезлюдел и раздался дачный простор! Ты плачешь – в такие-то минуты я и выхожу гулять с тобой, – но вдруг замолкаешь и примиренным взглядом смотришь вверх, на блеклую, облетающую листву и еще более обесцвеченное, сизое, студенистое небо. Это затихание в тебе и долгое, без поворота головы, слежение одними зрачками так сродни всему окружающему в его осенней стылости и протяжности! Что видишь ты там, наверху, о чем говорят тебе эти ветви и это небо – тебе, не знающей, из какой земли они растут, над каким миром возвышаются? Там, куда ты смотришь, все пустынно и все одинаково – над любой частью света; и что бы ни видела ты, я чувствую, ты правильно смотришь, плавно скользя зрачками по каждому древесному плетению и небесному просвету, – не пропуская ничего, не прерываясь ничем, верная своему движению.

Улица через ворота выводит нас в поле – тут уже и впрямь все огромно, и пустота устрашающая и дикая. Я с коляской сразу теряюсь в этой пустоте – ветер так полно объемлет весь поднебесный простор, что тело ощущается легким и почти невесомым, вот-вот сорвется и улетит. «Мы затеряны, – то ли думаю, то ли говорю я тебе, – ветер играет нами, будто россыпью сухих и легких семян, которые уже нигде не задержатся и не прорастут, обреченные остаться попутчиками всех ветров... глубже вдохнем и улетим».

Этим пронзительным чувством нашей общей затерянности я вдруг лучше начинаю понимать тебя – то, что ты чувствуешь в этом мире, едва вступив в него. Он так же дик, огромен и пустынен для тебя, как это насквозь продутое поле, куда вынесло нас из разреженного скопления плетней и деревьев, а еще раньше – из уютного чрева дома. Мы как бы повторили твой путь в мировую расщелину и гулкое слепящее зияние, где такие же, как ты, крошечные былинки дрожат на бесконечном ветру. Сиротливое чувство человека в оголенном пространстве помогло мне понять тебя – это как у Блока в «Осенней воле»:

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Наш мир – всегда осень для тебя, продувной, бессмысленно распахнутый простор. Это поле, раскинутое на километр или два, до пунктирного шоссе вдаль, – только крохотная частица пустоты, внезапно тебя окружившей. И если я, уже немало побродивший по земле, вновь не могу избавиться тут от чувства своей заброшенности, то что же должна испытывать ты, впервые попавшая не только на это поле, но во весь этот полый, неохватный мир!

И вот идем мы с тобой вдвоем, вернее катим и катимся, настоящие перекасти-поле, и я удивляюсь не только впервые постигнутой родственности наших чувств, но и очевидной, подавляющей их несоразмерности. Две разные пустоты вокруг нас: моя – обжитая, ограниченная со всех сторон – и твоя – еще беспредельная.

7

У Л. бывают иногда страшные видения: будто с Олей что-то случилось или она куда-то исчезает, – а тем временем девочка мирно спит. Для своего возраста вполне резвый и развитый младенец, врачи хвалят... Но прямо в соответствии с Олиным вырастанием учащаются эти материнские кошмары – причем дневные, стойкие, повторяющиеся. Откуда же эти страхи, которых я, хоть стыдись своего бесчувствия, начисто лишен?

Видимо, тревога матери запрятана в самом ее опустевшем чреве, которое уже больше не защищает родившееся дитя. И чем более зрелым и самостоятельным оно становится, тем острее страх за пребывание его вовне: все мерещится опасность или пропажа. Мне-то только прямая прибыль – лицезреть дочь после выхода ее из материнской тьмы на Божий свет; а у Л. – тоска и тревога. Рождение есть как бы обмен в чувствах и правах обладания между родителями, переход от отцовской тоски по невидимому ребенку – к материнскому страху за дитя, внутри себя уже неосязаемое.

8

Как только мы с дачи переехали в город, Оля стала заметно спокойнее и веселее, точно почувствовала себя в надежных материнских объятиях. Тут и впрямь пространство более тесное и замкнутое; и если раньше она более получаса не могла пробыть на открытом воздухе, чтобы не проснуться и не расплакаться, то теперь ее надолго можно оставлять одну на балконе, и засыпает она с умиротворенностью на лице. Мы еще на даче заметили, что сон на свежем воздухе, который естественно считать полезным и приятным, внушает ей странную тревогу и в закрытом помещении она засыпает настолько же охотнее, насколько у матери на руках – в сравнении с кроваткой. Разные степени защищенности. Именно в тесноте-то для ребенка – и не в обиде.

Это перевернуло наши представления о том, как ребенок относится к природе. Мы-то полагали, в соответствии с давно устоявшимся руссоистским взглядом, что дитя, только вышедшее из недр природы, должно любить всякие луга, поля и доли, ласкаться с ветерком, улыбаться небу и т. д. Получилось же наоборот – притягивает ее все закрытое, укромное, чего в природе она не находит, зато цивилизация предоставляет сполна: от самого плотного окружения, вроде пеленки, коляски, кроватки, – до более вместительных недр комнаты, дома, города, которые она делит с другими людьми. В том-то и суть, что такого залегания бочком в теплой ложбинке, как прежде, природа поспевшему плоду уже не дает, выталкивая его на холодную и колючую поверхность. И только цивилизация, склоняясь над новорожденным, принимает его под материнскую опеку – из объятий в объятия.

Я бы так описал цивилизацию, какой вижу ее теперь, после Олиного рождения: под одним покровом – другой, еще тоньше, еще ближе и любовнее прилегающий. Колышутся ткани, задерживаются пологи, и во всей этой льнущей, струящейся материи обнаруживается суть цивилизации – вторичное материнство, усыновление человека в неродном, уже «выродившем» его мире природы.

Конечно, есть и то, о чем говорил Руссо: вскормленного цивилизацией и пресытившего человека влечет бесконечный простор – прочь от дома, уюта. Но это уже не прирожденная тяга, а предсмертная – к рассеянию, к слиянию со всем распахнутым мирозданием: разбросанным прахом в прах вернуться. Крошечное же существо, только себя обретшее, боится этого тревожного простора, «не терпит пустоты». Агорафобия, страх открытых пространств, полей, площадей, – врожденная «болезнь» новорожденного, оберегающая хрупкую еще целость.

IV. Любовь

Что такое любовь «с первого взгляда» в сравнении с любовью «с первого вдоха»? Рождение дочери станет таким же захватывающим приключением, темой романтических песнопений, как встреча с возлюбленной.

1

Носить младенца на руках, окружать его собой, помещать в выемку между подбородком и грудью – ни с чем не сравнимое блаженство. Вдруг новая способность пробуждается в мужском теле – втягиваться и углубляться, образуя полузамкнутое пространство, и тем отчасти испытать ощущение материнства.

Только новорожденное тело, так ладно еще приспособленное к чреву, дарит это высшее чувство полного обладания, когда заключаешь его в себя. В нем есть еще та незатверделость и текучесть, вобрав которую, можно захлебнуться от счастья переполненности. Ты ходишь с младенцем по комнате, бережно сжимая и в то же время покачивая, подбрасывая, – чтобы ощутить еще и еще его плескания о твои плечи, легкое переплескивание через края. Весь он перетекает туда, куда наклонишь его, и радостно осязая в себе это нежное бултыхание, подставляя щеки и губы под теплое взбрызгивание его ручек и пяточек.

2

Как для матери дитя, носимое в чреве, есть вовсе не забота нравственная, не доброе чувство и попечение, а часть плоти своей, так и отец может всем существом своим прилепиться к ребенку после рождения. Эта слепленность по силе своей равна супружеской, почему и говорится в Книге Бытия, что «прилепиться к жене своей» можно, лишь отделившись от родителей. Тут самая настоящая кровь, а не водица всяких добрых предписаний: «родительский долг», «родительская ответственность», «родительская забота». Все эти понятия взяты из области общественных отношений между чужими людьми и уместны, скажем, для порицания родителей, бросающих своих детей: общество призывает их опомниться и внять требованиям человеколюбия. Но в применении к родительской любви эти понятия нелепы и бессильны.

Дело обстоит проще: нас тянет друг к другу. И для дочери эта близость вполне обыденна, она не чувствует тут события – просто существует в моих руках, на моей груди, как трава растет из земли или облако парит в воздухе. Событие для нее, наоборот, отъединенность, когда я, например, спускаю ее с рук и кладу в кроватку: плачет от обиды. Не я выносил этот плод, но он, родившись, стал вращаться в меня. И когда я чувствую ее дыхание, обжигающее то щеку, то лоб, – со мной происходит то, что называется превращением вещества. Я весь расплываюсь, точно ставится на мне огненная печать.

Вот эту овнутренность всего внешнего в себе я и ощущаю как истинно родительское состояние. Родить – значит самому переродиться, причем не только духовно, но и телесно. Нравственность, ответственность – это уже потом, по мере взросления и отделения ребенка, когда для замены прямой связи понадобятся опосредования. Сейчас я знаю одно: рождение – акт двусторонний, взаимно преобразующий, и если я дал дочери жизнь во плоти, то столь же неоспоримо и она дарит мне новую жизнь: новые страсти, новые ожидания.

Отцу это дано ощутить, быть может, даже острее, неожиданнее, чем матери. Ведь в процессе рождения он существо скорее пассивное, приемлющее, в противоположность своей роли в зачатии. Там семя исходило от него. Теперь плод, изойдя от матери, начинает обратно воздействовать на отца. Круг замыкается. Наступает мой черед.

3

Для выражения родительских чувств еще не хватает слов. Нравственные и тем более юридические понятия сюда не подходят. Остается только один подходящий язык – язык любви. Наслаждаешься чистым запахом волос, целованием крохотной, но уже округлившейся ручки – и испытываешь изначально ту утоленность, которая во взрослых отношениях дается лишь после страстного неистовства. Мы изначально слиты друг с другом как одно существо. Прижимая ее к себе, я испытываю то чувство легкости и свободы, с каким единое существо, «отец-дочь», то раздваивается, то опять обретает нераздельность. Дочь – своя плоть, ею можно очаровываться, потому что она отделилась от тебя, но ее не нужно завоевывать, потому что она не чужая тебе.

В этом есть что-то райское, не только в переносном, но, быть может, и в прямом смысле. Ведь до того, как Адам и Ева познали друг друга как мужчина и женщина, во грехе, кем была Ева? Дочерью Адама, «костью от костей и плотью от плоти его». Она не чужая женщина, «добытая», «попаятая» в жены, а сама «взята от мужа», вылеплена из ребра его, как дочь из отца. И не есть ли первоначально невинные, но сладостные отношения, составлявшие их эдемский союз до грехопадения, именно отношения породившей плоти к порожденной, чистые от вожделения? «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2: 25). Это потом, когда всеобщий греховный раздел вошел в мир, плоти их обособились, как бы разроднились и устыдились своей наготы, и тогда-то влечение двух противоположных полов вытеснило у них первоначальную родственную близость. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3: 16). Тогда и возникла любовь как вожделение и владычество, с ее разрушительными порывами, с ее короткой радостью, повисшей между двумя безднами. Родительская нежность свободна от этой истомляющей смены влечения и отталкивания, от этого перепада между мучительной напряженностью и опустошительной разрядкой. Все это жестоко-страстное, живущее присвоением чужого, во многом уже преодолевается в супружестве, но еще более – в близости родителей и детей.

Вот почему отвратительно кровосмешение: тут свои совокупляются как чужие. Когда две плоти уже изначально едины, то половое общение между ними превращается в расторжение родства. Нежность родителей к детям не только отлична от супружеского влечения, но и прямо противоположна кровосмесительной страсти, где не свое между своими и не свое между чужими, а чужое между своими.

Почему-то, однако, это свое между своими менее всего выявлено, понято, обдуманно. Всю литературу терзают в клочья безумные страсти влюбленных, среди которых нет-нет да и мелькнут в ярких лучах психоанализа крадущиеся силуэты кровосмесителей. Где же плоть в нежнейшем своем состоянии, родительско-детском – бурном без мути, чистом без пресности?

Или это «свое со своим» слишком уж безмятежно: нет движения, нет трагедии?

4

Про этот тепленький комочек, про этот единственный запах могу только сказать, что без них мне жизни уже нет – и это, может быть, самое страшное по своей необратимости, что случилось со мной, потому что жизнь уже до самого конца вложена в иное тело и обречена его отдельной судьбе. Пока что эта девочка еще моя, но вот я беру ее на руки, прижимаю к себе – а она тянется в сторону к блестящей люстре, и уже чуть ли не отбивается от меня. И так, пальчик за пальчиком, она будет постепенно все свое у меня отбирать, и к ее пятнадцати-двадцати годам останусь я с пустыми руками и отнятой душой.

А начиналось все безоблачно и счастливо – безоглядным вселением моей души в каждый ее изгиб, волосок, ноготок. Душа потому так и любит новорожденное тело, что оно в наибольшей степени само – душа, чистейшая форма, платоновская идея, еще не запятнанная воплощением, воспитанием, приспособлением к земным условиям. И вот родительская душа, едва заведя его, сразу проникается им, вселяется во все эти пяточки, локотки, плечики как в собственную плоть и испытывает восторг, исторжение через край. Лишь потом, когда взрослеющий ребенок отдаляется и душа пробует взять себя назад, она постигает весь ужас своей обреченности: никогда уже не найти замены этому телу, которое ей не принадлежит, в котором властвует другая душа.

Как бы ни любили дети своих родителей, в этих последних всегда есть что-то брошенное и забытое. Они уходят в прошлое своими отмирающими телами, исторгнув из себя неумирающее семя, свою бессмертную душу. Тоска родителей по детям – это вековая тоска по недостижимому, сверхвременному, квинтэссенция мировой романтики. Все, что есть в судьбах безответно влюбленных, безнадежно страдающих, безвозвратно покинутых, – есть и в их судьбе. Кто покинут более, чем стационарный зритель – дочь? Он не может избавиться от этого наваждения: он любит не чужое, которого много, а единственное, свое.

Эта любовь своего к своему не исключает трагедии, а, напротив, начальной своей безмятежностью раздвигает грядущие ее масштабы. Если изменяет возлюбленная, то это значит, что она вновь стала чужой, какой и была прежде. Но с дитем-то прежде были только ласки, только любовь, безусловная и доступная, как воздух. И вдруг воздух начинает исчезать, оставляя без привычного вдоха. Тут потеря – не возврат к былому одиночеству, а невозможность вечной любви. Я был всем для тебя: нянькой, кормильцем, сиделкой, наставником, я помещал всю тебя на груди – и вот я становлюсь частью: все дальше дробящейся, скучной, привычной, исчезающе малой частицей твоей жизни. Я затерян среди кухонной утвари, меня заслоняют книги, стулья, телевизор... Это низвержение творца: не сознательное богоборчество, а равнодушный атеизм – что может быть трагичнее?

Пусть до этого еще далеко – но потеря тем страшнее, чем крупнее достояние. А больше, чем сейчас, когда ты совсем еще маленькая, тебя у меня никогда не будет. Чем ты меньше, тем больше тебя со мной.

5

И вот отец пытается повернуть вспять беспощадный к нему ход времени. Он хочет остаться *всем* для своих детей, каким был для них в детстве. Этой безумной мечтой обуян король Лир – величайший герой и мученик отцовства. Трагедия Лира-отца заключает в себе сущность всех других грандиозных трагедий, ибо он пытается перевернуть сам порядок вещей – стать эпилогом там, где является лишь прологом.

Лир хочет заполнить собой то будущее своих дочерей, где они должны жить уже *после* него. Для этого ему уже недостаточно быть только отцом – ведь дочерям пришла пора обзаводиться своими семьями. Вот и хочет Лир сменить свой обветшалый статус отца на супружеский и сыновний. Если суждено дочерям превратиться в жен и матерей, то он желает, чтобы они любили его и женской, и материнской любовью – всей любовью, какую вмещает их сердце. Разве нет в таком требовании безукоризненной логики? Отец дает своим детям жизнь со всеми ее дарами: воздухом, светом, простором – вот он и хочет, чтобы его любили и почитали превыше всего. Чего добивается Лир, точно угадывает лукавая Гонерилья:

Вы мне милей, чем воздух, свет очей,
Ценней богатств и всех сокровищ мира,
Здоровья, жизни, чести, красоты.
Я вас люблю, как не любили дети
Доныне никогда своих отцов⁶.

Лир требует, чтобы взрослые дочери вечно оставались детьми, находили в нем высшую уладу и замену всему. И не такое уж это надуманное притязание – быть может, эта мания отцовского величия есть вопль той самой природы, которая заставляет иногда животных пожирать в порыве необузданной страсти собственное потомство.

И вот эта сцена отречения от королевских прав, от отцовской власти... Лир ведь не просто отдает – он меняет: свое отцовство, роль которого уже ничтожна в жизни взрослых дочерей, на супружество и сыновство. По сути, он вовлекает женихов своих дочерей в этот стговор для того, чтобы сделать их свидетелями нового брачного союза, вступая в который дочери приносят отцу клятву вечной любви. И потому так возмущает его Корделия, отказывающаяся произнести любовное признание и клятву верности, ибо она воспринимает все это как *брачную церемонию*, в которой женихи выступают как свидетели, а отец превращается в супруга.

На что супруги сестрам,
Когда они вас любят одного?⁷

Лир проклинает свою младшую дочь – единственную, для кого он остается собственно отцом. Ведь он хочет большего: из старшего – стать ровесником своим дочерям или даже младшим, чтобы жизнь потекла вспять. Шут так и говорит Лиру:

...Ты из своих дочерей сделал матерей для себя,
дал им в руки розги и стал спускать с себя штаны⁸.

⁶ Шекспир У. Король Лир, акт 1, сцена 1; перевод Б. Пастернака.

⁷ Шекспир У. Король Лир, акт 1, сцена 1; перевод Б. Пастернака.

⁸ Там же, акт 1, сцена 4.

Так вот к чему приводит это державное упрямство отца, который хочет остаться *всем*: он становится *ничем*. Он получает не ласки, как любимый сынок, а розги, как надоедливый пасынок. Время превыше справедливости и не допускает симметричных перестановок. Дочь со временем может стать матерью, но отец уже не может стать сыном. Лир, как трагический безумец, бунтует против этих незыблемых законов. Но в конце концов к нему приходит и трагическое прозрение – и от кого же? От той, которая отказалась любить его больше, чем просто отца. Ценою своей жизни Корделия возрождает в опустившемся бродяге достоинство короля, потому что сохранила в нем отца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.